**Иннокентий Васильевич**

**ФЕДОРОВ-ОМУЛЕВСКИЙ**

**МЕДНЫЕ ОБРАЗКИ**

*Рассказ из путевых впечатлений*

Проездом из Петербурга, за несколько станций перед Нижнеудинском, на одной из них я вышел из моей неуклюжей кибитки напиться чаю. Дело было поздним вечером. В станционной комнате не оказывалось ни одной души, кроме косоглазой русской бабы аршина полтора в талии да старика лет шестидесяти с совершенно седой и несколько курчавой головой. Я нашел эти две души в соседней камере, на полу, спящими с таким блаженным свистом и храпом, что я догадался бы о их присутствии там даже и тогда, если б был глух на оба уха. В дороге, господа, человек, как известно, делается страшным эгоистом, и потому, как я ни гуманен, а все-таки неминуемо пришлось разбудить милую парочку. По совершении этого процесса, не очень-то, впрочем, краткого, старик оказался станционным писарем, а косоглазая баба – временной подругой его пустыннической жизни. Они засуетились, баба побежала ставить самовар, а писарь принялся с необыкновенным жаром рыться в почтовой книге, совершенно бессмысленно, я думаю. В ожидании чая я приютился, как мог, удобнее на каком-то длинном сундуке – и вздремнул. Шипенье массивного самовара, слегка напоминавшего талию косой бабы, и не менее массивный голос этой последней – вырвали меня из сладкой дремоты. Засуетился я в свою очередь. По-моему, нет ничего несноснее, как пить чай одному на станции. Я, надо вам сказать, человек общественный, и потому какое бы то ни было общество составляет для меня всегда первую насущную потребность. На этот раз, за неимением ничего лучшего, жертвой такой моей потребности должен был оказаться, как вы и сами догадаетесь, станционный писарь.

– Не хотите ли чаю? – спросил я его как можно мягче.

– Покорнейше благодарим-с; кушайте сами на здоровье: вы человек дорожный, а мы, значит, люди на месте. Кушайте-с, кушайте-с.

– Да нет, отчего же? Вы не помешаете мне, и я вам также.

– Покорнейше благодарим-с, кушайте-с...

«Не податлив, старый, – подумал я.–Постой! попробую с другой стороны».

– Коли не хотите чаю, так, может, стаканчик рому выпьете? – продолжал я опутывать мою жертву, кик наук муху.

– Не пьем-с... – отвечали мне лаконически.

– Так хоть просто посидите со мной, потолкуемте...– настаивал я.

– Это можно-с...

За сим кратким ответом жесткая жертва моя, оторвавшись от почтовой книги, медленно выползла из своей каморки и, как-то ободрительно утерши нос большим пальцем левой руки, приблизилась к самовару. Теперь только я рассмотрел это лицо; оно было очень выразительно и оригинально, а в больших слезящихся глазах ясно проглядывало присутствие того, что по-русски обыкновенно выражается словами: «себе на уме».

– Садитесь, пожалуйста, – сказал я, подвигая ему стул.

Жертва моя молча села, но только не на стул, а поодаль от меня – на сундук. Воспользовавшись этой минутой, я налил стакан чаю наполовину с ромом и поставил на сундук возле жертвы.

– Выкушайте-ка, без церемонии, стаканчик на сон грядущий.

На этот раз стакан был принят, но знаю уж почему, без малейшей отговорки, поставлен блюдечком на все пять пальцев правой руки, а затем не прошло и десяти минут, как я налил ему в другой стакан, подбавив туда как можно больше рому. С половины этого, второго, рокового стакана жертва моя нечаянно обнаружила способность и стремление к мышлению в следующем афоризме:

– Невеселые нонече люди пошли, сударь!

– Как так?

Я начинал интересоваться моей жертвой.

– Да уж так! Нет то есть прежней забавы в людях, лядащие пошли.

– Ну, а в ваше время веселее жили, что ли?

– Известно, веселее; веселые, сударь, в мое время люди бывали...

– Кутили, что ли, много?

– Кутили не кутили, а, значит, все нараспашку.

Жертва моя окончательно получила в эту минуту высокую цену в моих глазах, и я распустил шире мою паутинку.

– Да разве и теперь не живут многие нараспашку? – возразил я лукаво.

– Не то! – отвечал писарь с каким-то особенным жаром, махнув рукой в угол: – совсем, сударь, не то!.. Вот хоть теперь, к примеру сказать, был у нас здесь исправник, забыл по фамилии как, годков двадцать ведь будет, как он у нас был, – развеселый был человек, можно сказать!

– Что же он? – спросил я, навострив уши.

– Шутник был, значит, большой. У нас это, знаете, проживал здесь мужик, богатый-пребогатый, не то раскольник, не то православный, а так, знаете, старой веры малехонько придерживался. У нас ведь здесь, окромя станции, деревня большая. Только этот мужик кремень был, скряга, выжига такая, что упаси господи! А честный был мужик, нельзя напрасно сказать. Даром он это, таперича, никому не даст, хоть вот, значит, губернатор сам приезжай. Ну, если дело какое – вывалит! Это уж беспременно, что вывалит... сотню вывалит, а то еще и две, пожалуй! не постоит... А исправник-то наш, знаете, все это у него с приезду останавливался; лижется он около мужика, лижется – ничего не вылижет! С тем и уехал, значит, всякий раз, с чем приехал... понимаете? Накормит, напоит – уж это, значит, отлично, и уложит мягко, а дать – ничего, таперича, не даст! Больно на него за эвто грыз зубы наш исправник, за эвто, значит, самое, что не дает ничего.

– Уж подведу, говорит, я эвтова мужичонку под тысячонку!

А сам это ничего – смеется: добрая ведь душа был, шутник такой! Вот это раз, в Иркутском, гулял он, исправник-от наш, с заседателем, с нашим же, по Большой улице, значит. Слово за слово, разговорились они, примерно сказать, о своей пастве, которая-де овца больше шерсти дает. А заседатель-то, знаете, вдруг и брякни исправнику:

– Вы-де, говорит, все еще со Степана взять ничего не можете?..

А Степаном-то, знаете, звали эвтова самого мужичка выжигу-то.

– Вот же возьму, – говорит исправник: – нонече же возьму!

– А не возьмете, – говорит это заседатель-то ему: подстрекает, значит.

Исправник-от и разгорячился: стыдно ему стало, надо быть – потому дело плевое...

– Хотите, говорит, об заклад побьемся, что возьму?

– Хочу, говорит, давайте!

– А что, говорит, идет? – это исправник-то. – Хотите, говорит, так: если я нонече со Степана возьму, так вы мне, значит, должны соболей жене на воротник представить; а коли я проиграю – я вам две дюжины, двадцать четыре бутылки, значит, шампанского выставлю. Вы, мол, еще молоды для соболей-то, да и женки у вас нет, а шампанское на здоровье выпьете. Идет, что ли?

– Идет, говорит.

Заседатель-то, значит, согласился. Ну, и ударили по рукам, тут же, стало быть, на улице, – и разошлись, значит, по домам. Только этак с недельку прошло, нагрянули они оба к нам вместе. Заседатель остановился у старосты Микиты, а исправник-то прямо на двор к Степану. Исправник такой ласковый приехал; все это, знаете, Степана по плечу треплет да и приговаривает: каково же, мол, ты, Степанушка, поживаешь? А тот, знаете (дивно ему это), только и знает, что кланяется ему в пояс:

– Ничего, говорит, ваше высокоблагородие, живем мало-мальски вашими милостями. Супружница ваша все ли, мол, в добром здоровье, ваше высокоблагородие?

– Ничего, говорит, здорова, здорова; тебе кланяется.

– Покорнейше, мол, благодарим!

А сам это, знаете, исправник-то, значит, все осматривается кругом. Видит это он, слышите, что Стенан-от один себе в избе, и говорит ему, да ласково таково:

– Поди-ка, говорит, Степанушка, позови ты мне старосту, да и понятых: надо, мол, о поведении поселенцев расспросить; да уж за одно попутье и заседателя повести.

Ну, Степан-от, знаете, и пошел. Ладно. А у него, знаете, у Степана-то, в углу избы всё медные образки стояли. Этакие уж нонече редко попадаются: со створками, значит. Вот, сударь ты мой, как Степан-от это ушел, исправник-то возьми да и переверни все образки-то вверх ногами. Сделал себе дело, сел на лавочку, сидит да ждет, усмехаясь: собольки-то, мол, теперь женушке на воротник беспременно будут! Воротился Степан, староста пришел, понятые с ним, ну, и заседатель, стало быть, тут же.

– Здравствуйте! здравствуйте, ваше высокоблагородие!

Поздоровкались, значит. Помолчал наш исправник маленько, да и брякнул:

– Староста! – говорит: – сей человек (на Степана указывает) какой у вас веры?

– Известно, мол, батюшка, ваше высокоблагородие, православной, надо быть, ему веры.

А исправник-то Степану:

– Ты, говорит, Степанушка, какой веры?

– Православной, мол.

– Нет, врешь! – говорит: – какой, говорит, ты православный; раскольник ты, бестия, вот что! Посмотри, говорит, это образа-то у тебя как стоят? Староста? Это, говорит, что такое? Это ведь, говорит, ересь сущая! А! говорит, ты тут, Степанушка, новый раскол заводишь, вот оно что! Понятые! – кричит: – видели?

– Видели, говорят.

– Староста! видишь? говорит.

– Вижу, говорит, батюшка, ваше высокоблагородие.

Степан, знаете, стоит, как угорелый, да только посматривает во все буркалы; посмотрит это на образки, на исправника посмотрит, да и опять на образки. А исправник-от, шельмец, почесывает за галстуком да и говорит:

– Надо, мол, акт составить; дайте-ка мне сюда бумаги, перо да чернила.

Сходили, принесли.

– Садитесь-ка, говорит, Антон Матвеич (это он заседателю, значит), да пишите. – И стал ему подсказывать: тысяча восемьсот, мол, такого-то года, так и так, мол, – и пошел... А тот, заседатель-то, и пишет. Смотрел это, смотрел на них Степан, за ухом, почитай, раза четыре поскребся, да и бух в ноги исправнику.

– Помилосердуйте, говорит, отец родной! не погубите! Это, говорит, не я... Это, мол, надо быть, ребятишки малые играли да перевернули образки-то... мы, мол, эвтакими делами не занимаемся, ваше высокоблагородие, как вам известно...

– Ничего, говорит, брат, известно! Я уж, говорит, Степанушка, давно за тобой эвти грехи-то приметил; давно, говорит, до тебя добираюсь – вот что! Пишите, говорит (заседателю). Чего с ним толковать... мошенник!

А Степан-то это опять за ухом поскребся-поскребся да и говорит, тихонько таково, исправнику-то:

– Ваше высокоблагородие, пойдемте, мол, в кут; я вам там во всем покаюсь, всю душу, то есть, выложу!

– Пойдем, говорит, выложи душу; посмотрим, какая она у тебя: христианская или раскольничья... Пошли в кут. Исправник-то и говорит шепотком, значит:

– Ну, выкладывай, мол, душу...

А Степан ему в ответ, шепотком же, значит:

– Мне, мол, ваше высокоблагородие, чего душу выкладывать; я, мол, тут ни в чем не повинен, а только, мол, срам мне большой выйдет... Так уж, говорит, не посрамите: рублей двести, мол, выложим.

А исправник-то и вскинулся, да громко таково, почитай, на всю избу, инда курицы в шестке встрепенулись:

– Ах ты, сучий сын! Что-о-о? двести рублей? Н-е-е-т, шалишь, парень! Тут, брат, не двумястами, а тысячами двумя пахнет! Дело-то ведь это уголовное! ты как думал?

Степан, примерно, опять поскребся:

– Шестьсот, говорит, положу...

– Нн-е-е-т! – говорит: – ловок больно будешь! Последнее слово: тысяча!

Торговались они это, торговались, сударь ты мой, да ведь так на тысяче ассигнациями и положили. Выходит это исправник из кути-то, посмеивается, посматривает на заседателя да как тыкнет ему под нос красненькими-то.

– Что, говорит, Антон Матвеич: чья взяла?

– Ваша, говорит.

– А собольки, мол, когда?

– Через неделю, говорит, представлю.

– То-то вот и есть, говорит, батенька, – молоды! А уж шампанским напою... Не в счет! Пойдемте, говорит. А вы-де, братцы (это он старосте да понятым), тоже ступайте себе по домам; дело это, мол, я разобрал сам: клин – так клином и вышиб!

Вот оно и поди! В тот же день он от нас так и уехал вместе с заседателем... Такой был шутник, ей-богу! Нонече уж таких веселых людей нету-с!

Станционный писарь поставил на сундук свой допитый стакан и выразительно помотал головою.

– А ромец хороший-с! – заметил он тоном знатока.

– То-то же и есть; а вы еще отказывались...

– Да мы ведь, знаете, только с хорошими людьми пьем-с... Лошадей прикажете закладывать?

– Да, пожалуйста.

– Заложим-с, заложим-с...

Уехав через несколько минут с этой станции на тройке измученных лошадей, я долго размышлял дорогой, под звуки неотвязчиво и нестерпимо-скучно звеневшего колокольчика: действительно ли нет у нас ныне таких веселых людей, как этот исправник? И все мне мерещилось, что подобные «шутники» встречаются изредка и в наше невеселое время...

*1862*

**Вопросы и задания**

1.Как вы понимаете смысл названия рассказа?

2. От чьего лица ведётся повествование? Что привлекает рассказчика в истории Степана?

3. Где и когда происходит действие рассказа?

4. Кого из героев рассказчик называет «шутниками»? В связи с чем?